**ლექცია 11. ანალების სკოლა**

1. **ინფორმაცია ანალების სკოლის და მისი ძირითადი წარმომადგენლების შესახებ - ნებისმიერი წყაროდან ნებისმიერ ენაზე.**
2. **წიგნიდან: Л.Февр. Бои за историю. Москва, 1991:**

От Шпенглера к Тойнби (стр. 72-96).

А.Я. Гуревич. Уроки Люсьена Февра (стр. 501-541) – ix.:

**https://drive.google.com/file/d/1uvT\_TvGwW2v7Uq4Lwl3DVI5olv6U9Soj/view?usp=sharing**

**შეგიძლიათ მოძებნოთ და წაიკითხოთ ინგლისურ, გერმანულ ან ფრანგულ ენებზეც. ქვემოთ მოცემულია პირველი ტექსტის შემოკლ. ვარიანტი.**

1. **Tomasz Wiślicz. THE “ANNALES” SCHOOL AND THE CHALLENGE OF THE LATE 20th CENTURY. CRITICISMS AND TENTATIVE REFORMS**

**Февр Л.**

***От Шпенглера к Тойнби***

На моем столе — три толстых тома. На первой странице — имя автора: Арнольд Дж. Тойнби. Он хорошо известен в Англии (и даже за ее пределами) благодаря своим практическим заслу­гам и научным трудам. Заглавие: [A Study of History» [Изуче­ние истории] 1. Не будем делать вид, будто нам принадлежит честь открытия этого труда, который по своему значению, разма­ху и величине достоин занять место рядом со знаменитым тру­дом сэра Джеймса Фрэзера. Если автор «Золотой ветви» был родоначальником сравнительного исследования «первобытных» религиозных институтов, то Арнольд Тойнби взял на себя задачу довести до конца двадцатитомное2 сравнительное исследование поочередно создаваемых человечеством цивилизаций или, если угодно, исследование человеческого опыта в области цивилизации.

Обширный и многообещающий замысел. Пусть он внушает нам с самого начала некий трепет; пусть в конечном счете, когда мы взвесим все «за» и «против», разум и склонность к методике заставят нас несколько от него отстраниться — тем не менее мы не предъявим его автору никаких предвзятых запросов. Разбирая эти книги, мы не горим желанием «историка-специалиста» взять шумный и легкий реванш у обольстительного историка-эссеиста. Труд Арнольда Тойнби сложен. В нем есть и положительные и отрицательные стороны; в нем ясно прослеживается связь с це­лым рядом недавних выступлений — различных но форме, схожих по духу.

С недавних пор историки то и дело удостаиваются чести вос­седать на скамье подсудимых пред пестрым синклитом, состоящим из разного рода знаменитостей - поэтов, романистов, журнали­стов, эссеистов,- которые, уделив богине Клио всего несколько минут своей жизни, посвященной служению иным культам, ухит­ряются мигом уразуметь (так по крайней мере они нас уверя­ют) то, чего за долгие годы упорного труда не удается понять историкам, способным мыслить и выражать свои мысли. После чего со снисходительностью, к которой у одних примешивается французская ирония, у других - германское неистовство, у третьих - английский юмор, сии блистательные и скоропали­тельные мыслители несколькими молниеносными штрихами обри­совывают нам свои открытия и системы. Что же нам в таких случаях делать? Безо всякого ложного стыда рассыпаться в бла­годарностях? Со всей серьезностью вникнуть в их критику? Сдать­ся без боя? Продолжать сопротивление? Любое из этих решений может оказаться уместным, если мы увидим в них соратников, которые способны тронуть нас либо своими разумными доводами, либо призывами, обращенными к чувствам: ведь в конечном сче­те мы, историки, живем в той же атмосфере кризиса, что и остальные наши современники; мы нуждаемся в доверии к нам и к делу наших рук - в доверии, помогающем нам выстоять. Ни одно из этих решений неприемлемо, если мы увидим, что за ширмой истории эти люди скрывают соблазнительные заблужде­ния и иллюзии. Решительно неприемлемо, если в их писаниях мы распознаем признаки духовного яда.

Именно это  обстоятельство и  побуждает  нас  к подробному разбору труда Тойнби. Но прежде чем к нему приступить, позволим себе отвлечься. Не ради развлечения, а в качестве вступ­ления.

ОСВАЛЬД ШПЕНГЛЕР: ВЕЛИЧИЕ И НЕМОЩЬ ПРОРОКА

В 1922 году в Германии появилась книга никому не известного автора, Шпенглера. Заглавие гласило: Der Untergang des Abendlandes2 [Закат Европы]3. Помню прилавки рейнских книжных магазинов, заваленные внушительными кипами этих in-octavo: они таяли, как снег на солнце. В несколько лет*,* имя Освальда Шпенглера стало знаменитым во всем германском  мире, а книга его обрела такой успех, какого не имело в Германии ни одно историко-философское сочинение со времен Гиббона.  Нет, успех не то слово: книга эта была встречена как некое откро­вение.

За границей ей был оказан менее горячий прием. Сдержанное любопытство в Англии; ироническое недоверие у нас; француз­ский перевод вышел с двухлетним опозданием (1925 г.), а еще через год появилась небольшая книжка Фоконне, в которой раз­бирались основные шпенглеровские темы. Однако обширная ли­тература - «Der Streit um Spengler», «O. Spengler und das Chris tentum» [Споры вокруг Шпенглера, О. Шпенглер и христиан­ство] и т. д.- уже начала с терпеливым однообразием так и этак манипулировать идеями пророка, не постеснявшегося про­возгласить себя «Коперником истории». Не будем его судить: историки не судьи; попытаемся его понять; иными словами, по­пробуем связать эту книгу и ее успех с актуальными нуждами тогдашней Германии, в которой назревало то, что вскоре должно было стать гитлеровским национал-социализмом.

Этот человек - он умер в 1936 году, в полном одиночестве, всеми оставленный,— родился в 1880 году в Восточной Пруссии. Протестант, выходец из скромной семьи, он получил в 1904 году степень доктора естественных наук за диссертацию о Гераклите*.* Не мудрено, что каждая страница «Заката Европы» пропитана жгучей ненавистью к столь почитаемым в Германии естественным наукам и к либерализму их приверженцев, особенно к их понятиям о прогрессе. Либерализм и прогресс - вот два божест­ва, служение которым было навязано юному Шпенглеру его до­машними, его наставниками, его товарищами по учению. Отсюда бурный протест против этих божеств, а также против «историче­ского атомизма», против кропотливой «монографической» работы, делящей историю, словно пирог, на разрозненные ломти: историю дипломатическую, экономическую, литературную, историю ис­кусств, наук, философских течений и т. д. На месте всех этих закутков он решил выстроить грандиозный и светлый дворец. Дворец всеобъемлющей истории. Народы и языки, боги и нации, войны, науки и философия, понятия о жизни и экономические формации - все это являлось в его глазах символами, которые нужно было истолковать, пользуясь методом аналогии, главней­шим историческим методом. Соответствия между интегральным исчислением и политикой Людовика XIV, между эвклидовой гео­метрией и греческим полисом, между телефонной связью и кре­дитными операциями нельзя считать поверхностными и надуман­ными. Они глубоки и существенны.

Все проявления человеческой деятельности в определенную эпоху сплавлены в понятие «культур». И эти культуры суть жи­вые существа, подобные, скажем, растениям: они зарождаются, расцветают, увядают и отмирают. Их судьба определяется в тот момент, когда разрастание и умножение всего, что они в себе заключают, становится хаотичным и беспорядочным. И хотя все они должны проходить в одной и той же последовательности одни и те же этапы развития, каждая из них глубоко отлична от соседних вследствие присущего ей духа. Наша западная куль­тура наделена фаустовской душой - для нее характерно вечное напряжение, тяга к недостижимому, сердечный и духовный ди­намизм. Душа античной культуры была «аполлоновской» - ей свойственна не динамика, а статика, спокойствие, неспешность, ясность; она породила не хронометр и научную историю, а до­рическую колонну и евклидову геометрию. Подобным же образом можно подобрать символ, определяющий египетскую культуру: это резко очерченная дорога, узкая и загадочная, ведущая пут­ника к таинственной гробнице фараона. Но все культуры, сколь бы различными они ни были, должны в свой черед миновать период восходящий (Kultur) и нисходящий (Civilization) - за­тем их ожидает смерть.

Стоит ли вглядываться в эти бойко раскрашенные картинки с таким же вниманием, с каким коллекционер вглядывается сквозь лупу в пробный оттиск гравюры? Какое отношение имеют к нам эти одноликие и всеобъемлющие культуры, включающие в себя без разбора всех живых людей данной эпохи независимо от их общественного положения - будь то Бергсон или Бэббит, приказчик за прилавком, ученый в лаборатории или крестьянин на ферме? Неужто все они наделены фаустовской душой и ее неистовым величием? А что означают эти красивые слова, эти цветистые метафоры, столь излюбленные виталистами: зарожде­ние, расцвет, гибель культур? Это всего лишь заново перелицо­ванное старье. Оно возвращает французского читателя в ту пре­красную эпоху, когда Арсен Дармстеттер выпустил небольшую книгу под названием «Жизнь слов»3, тут же разобранную по косточкам Мишелем Бреалем: она опередила свое время.

Как же объяснить фантастический успех Шпенглера - и не только у широкой публики, не способной противостоять его ча­рам, но и у всех образованных людей Германии и Австрии, осо­бенно молодых?

Дело в том, что Шпенглер предстал перед всеми в роли осво­бодителя. Когда мы читаем его призывы и увещевания: «Доволь­но монографий, довольно общих сводок!» - мы едва сдерживаем улыбку. Конечно, и у нас есть близорукие ученые, слепые кро­ты 4, но у нас нет недостатка в содержательных и ярких обоб­щающих трудах. Иное дело в Германии: там даже после войны история все еще продолжала испытывать гнет чрезмерной специализации. Монографии, написанные специалистами для спе­циалистов на специальном жаргоне, не выходили за пределы университетских кругов; история, в чье основание они ложились, оставалась занятием профессоров, яростно противоречащих один другому: то была схватка Вадиуса с Триссотеном 6. То был замк­нутый мирок специалистов и их дикарских основополагающих диссертаций. Туда не было доступа нормальному образованному человеку. Этот мирок был Fach [ремесло], и посягнувший на него посторонний считался святотатцем.

А Шпенглер как раз и проповедовал это святотатство - и всеобщий раздел награбленных историей сокровищ. Он вел свою проповедь не на жаргоне специалистов, а на языке ясном и жи­вом, полном блеска и ритмической гармонии. Он предлагал ду­ховно смятенной послевоенной буржуазии поистине лакомый кусок - историю, вырванную им у патентованных историков, ис­торию, облеченную в формулы, каждая из которых покрывала целые века. Он обнаруживал поражавшие своей неожиданностью и ослеплявшие многообразием соответствия между фактами, до­толе раз н навсегда распределенными по различным отсекам с непроницаемыми перегородками: геометрия Евклида протягивала руку   дорической   колонне - ну   не   потрясающее   ли   зрелище?

Благодаря Шпенглеру вся немецкая публика познала наивную и чистую радость первооткрытия истории - по крайней мере исто­рии, доступной ее пониманию, с начертанными именно для нее перспективами. И надо ли говорить, с какой признательностью публика эта приняла предназначенное ей подношение.

Тем более что автор, встав в позу пророка, возвещал гибель всего, чем в самом деле дорожили его читатели, - то было для них еще одним источником радости и свободы. Ибо - спору нет - хорошо участвовать во взлете развивающейся цивилизации. Но куда лучше жить во времена упадка. И мужественно прини­мать гибель, стоя на ее пороге: «Что ж, пусть она поскорее на­ступит!» Великолепная романтическая позиция; приняв ее, не мудрено преисполниться гордости за самого себя. Профессио­нальные историки, разумеется, либо пожимали плечами, либо во­пили о нарушении приличий, при этом украдкой подбирая под столом крохи от чужого пирога. Марксисты, разумеется, возму­щались, обличая учение, равнодушное ко всем социальным ас­пектам истории и жизни. Но средний читатель чувствовал, что автор польстил его личному и сиюминутному самолюбию. Что и говорить, не было у этого прусского или саксонского обывателя никакой фаустовской души, но он был бы не прочь ее заиметь или по крайней мере сделать вид, что имеет. Фауст, символ всей европейской цивилизации, был славной и милой его сердцу фи­гурой. И что за важность, если та или иная теория Шпенглера показалась ему туманной или неудобоваримой? Смутные чувства охватывают нас сильнее всего; к тому же они менее утомитель­ны, чем трезвое понимание. Отметим, наконец, вот что (кое-какие наивные приемы французской критики делают это замечание от­нюдь не бесполезным): философия истории была всего лишь од­ной из сторон шпенглеровской мысли - и далеко не самой важ­ной. История - это двуликий Янус: один его лик обращен к прошлому, другой - к будущему. Но к какому будущему? К за­кату Европы, прообразом которого, согласно законам аналогии, был закат Римской империи. К эпохе образования новых гигант­ских империй, к эпохе войн между ними: в первую очередь войн между империей Британской, цитаделью капитализма, и Герман­ской - оплотом этатизма. Что такое будущее согласно Шпенгле­ру? Это горсточка великих людей, с одной стороны, и масса - с другой. Отсюда наставления молодежи: «Не тратьте времени на поэзию, философию, живопись. Все это - мертвое прошлое. Со­зидайте в самих себе первооснову, которая породит великих лю­дей». Подобные темы, намеченные в «Закате Европы», были под­хвачены в «Neubau des deutschen Reiches» [Новое издание Гер­манской империи] и в «Politische Pflichten der deutschen Jugend [Политический долг немецкой молодежи] - политических про­граммах, разработанных человеком, являвшимся, как утвержда­ют, одним из первых приверженцев  национал-социализма.

Дело в том, что в то время у Шпенглера и его читателей, бу­дущих ярых нацистов, были общие враги: демократия, буржуаз­ный либерализм и марксизм. Тогда, в 20-е годы, Шпенглер дер­жал лавочку, полную самых ходовых товаров - таких, скажем, как известного рода патетика, решительный антиинтеллектуа­лизм, героическое понимание судьбы, антиэстетизм, убеждение в ничтожестве человека перед величием, непомерным величием истории. А также (см. его книгу 1920 года «Der Mensch: Die Technik» [Человек и техника]) предвидение гибели, столь близ­кое обывателю-нацисту, столь сообразное с его автаркическими грезами: «Избыточное развитие техники погубит Европу; цвет­ные расы научатся у белой ковать в своих мастерских оружие, которое они против нее же и обратят...» Всем этим и был обеспе­чен успех Шпенглера - не вдумчивого и последовательного в своих выводах историка, а пророка, волхва, ясновидца, пришед­шегося как нельзя кстати в охваченной брожением Германии 1922-1929 годов. Дополнительное тому доказательство: в послед­ние годы жизни он утратил всякое уважение со стороны нацист­ских кругов вовсе не от того, что его исторические теории были сочтены ложными. А от того, что и сентиментальная пози­ция Шпенглера, некогда обеспечившая ему успех, и навязчивый его пророчества уже не соответствовали идеологии нацистской партии, дорвавшейся до власти. «Сегодня нам принадлежит Германия, завтра - весь мир!» - таким стал ее призыв после победы. «Umbruch» [Перелом], «Neubeginnen» [Новое начало], «Der neue Mensch» [Новый чело­век] - эти полные активного оптимизма выражения все чаще звучали изо всех уст, вытекали из-под всех перьев. Как было согласовать эту необходимость доверия к будущему, веры в него, эту фанатическую потребность в надежде, способной выявить силы и мужество для повседневного труда; как было согласовать все это с мрачными предсказаниями человека, год за годом не­устанно «проповедовавшего, что судьба неотвратима, что настоя­щее определяется прошлым, что попытка поколебать иго истории, воодушевив издыхавшую цивилизацию иллюзорным порывом, за­ранее обречена на провал.

Шпенглер не понимал всего этого, и последняя его книга — «Jahre der Entscheidung»5 [Годы решений] окончательно рассорила его с национал-социалистами. Книга эта полна перепевов; цветные расы несут погибель миру, идеология не играет никакой роли во внешней политике и международной экономике и т. д. Автор не скупится на резкие выражения по адресу на­цистских светил, этих «взвинченных вечных юнцов» (schwar-mende  ewige  Jiinglinge),  этих  молокососов, у которых нет ни опыта, ни воли, которые и не желают набираться опыта, - словом, этих романтиков,но романтиков не социального пошиба, какими являются коммунисты, а приверженцев политико-экономи­ческого романтизма, считающего положительными и убедительными такие факторы, как число голосов на выборах, зажигательные речи с высоких трибун и монетарные теории, высосанные из  пальца  ничего  не  мыслящими в финансовых  вопросах деятелями. Он считает их не людьми, а стадом баранов, которые, чувствуя свою многочисленность, твердят о победе над индивидуа­лизмом, охотно закрывая глаза на собственное бессилие.

То был явный разлад с новой Германией, лишний раз заставивший усомниться в достоинствах Шпенглера как историка в пророка. И, сверх того, комическая несообразность: человек, порвавший с народом, который некогда ему рукоплескал, продолжал  предлагать  свои  услуги  нацистам  в  качестве  наилучшего советника8. Он  пускался в  высокопарные  разъяснения: «Кто действует - тот не заглядывает вдаль. Он стремится вперед, подталкиваемый событиями, не видя перед собой ясной цели. Быть может, он двинулся бы против течения, если бы сумел ее рассмотреть - ведь логика Судьбы никогда не согласуется с человеческими желаниями, но чаще всего продолжает блуждать наугад,  сбитый  с  толку  призраками  окружающих   его  вещей...» . Что же остается ему делать, как не довериться истории, не уверовать в Шпенглера, державного обладателя волшебного ключа, открывающего врата прошлого и будущего?

«Пешка ты, Oberlehrer [старший преподаватель]!» 9 - отвечали ему нацисты. И прибавляли, вспоминая шпенглеровские разглагольствования о человеке-хищнике и о мире, катящемся от войны к войне, от революции к революции в последнюю бездну: «Садист за письменным столом! Сочинитель мелодрам!» - ибо в Германии 1936 года полагалось верить, что средний человек добр и что установление мира во всем мире является главной задаче» победившего национал-социализма...

Так при чем же тут история? Как быстро в охваченной бро­жением Германии 1922-1929 годов полиняла историческая этикетка на пузырьке с политической микстурой, состряпанной этим ловким и пленительным краснобаем.

ВОЗВЫШЕНИЕ НОВОГО ПРОРОКА: АРНОЛЬД Дж. ТОЙНБИ

И вот через двенадцать лет после появления книги Шпенглера начинает обрисовываться новый труд (на сей раз на английском языке, предназначенный для английской публики), который тоже выдает себя за откровение, за некую неизвестную доселе и новаторскую философию истории.

Фактически же идеи Арнольда Тойнби, подобно построениям Шпенглера, не являются бескорыстными идеями человека науки. Сколь бы различными ни были оба труда, сколь бы независимы» от немецкого доктринера ни казался этот английский публи­цист, - и здесь и там налицо та же смесь, содержащая (чуть ли не в равных пропорциях) элементы критики (нападки на истори­ков, на неэффективность их методов), конструктивные элементы (философия истории, выдающая себя за нечто оригинальное) и, наконец, политическую подоплеку, вполне осознанную и опреде­ляющую, суть всего труда. В кругах, закрытых для Шпенглера, «A Study of History» вызвало живейшее любопытство и нескры­ваемый восторг, можно даже сказать - прилив страстей. Уже через несколько месяцев весь удобопонятный лексикон этого со­чинения был усвоен целыми кругами британских историков, этнографов и социологов, а затем вкупе с самими книгами Тойнби пересек Ла-Манш, по обе стороны которого поднялся крик о но­визне, об откровении, о гениальности. Попытаемся же разобрать­ся, какие уроки и наставления может извлечь историк со дна этих трех томов, представляющих собой «первый эшелон» всего труда - труда технически безупречного, ясного для чтения и удобного для справок. Итак, оставив в стороне частности, зай­мемся главным вкладом Тойнби в историю: его теорией Обществ и Цивилизаций.

Истинными объектами истории, утверждает он, являются об­щества, цивилизации. Именно они, а не рассматриваемые пооди­ночке нации. Таких цивилизаций, сосуществующих в наши дни одновременно, насчитывается всего пять: наша западная цивили­зация; православная цивилизация Балкан, Ближнего Востока и России10; более отдаленная мусульманская; еще более отдален­ная индийская и, наконец, дальневосточная. К ним следует доба­вить кое-какие обломки агонизирующих обществ: монофизитское христианство; несторианство; общества евреев и парсов2; два буддийских общества - махаянистское и хинаянистское 13 - и общество джайнов в Индии. Как видим, преобладают рели­гиозные ярлыки; наша цивилизация, впрочем, такового лишена: назвать ее христианской нельзя - слишком уж расплывчат этот термин; католической тоже не назовешь - ведь это определение неприложимо ни к стране Генриха VIII, Елизаветы и Кромвеля, ни к странам Лютера, Кальвина и Цвингли (так же обстоит дело и еще с кое-какими странами; назовем наудачу несколько имен: Вольтер, Дидро, Карл Маркс, Ленин). Но не станем углублять­ся в этот вопрос, посмотрим лучше, чем же может поживиться история, изучая общества, занявшие место наций; что может дать это двойное расширение ее пределов - в пространстве и во времени.

Изучая историю того или иного общества, говорит нам Тойнби, нужно прежде всего заглянуть в его сердцевину, туда, где яснее всего различима вся полнота его самобытности. А затем, отправляясь от сердцевины, шаг за шагом добраться до пункта, в котором происходит вполне возможное его столкновение с другим, столь же определенным и доступным исследованию обще­ством. Возьмем, к примеру, наше западное общество: поднявшись вверх по течению времен, мы достигнем наконец некоей no man's land [ничейной земли], где исчезают все определенные призна­ки, способные хоть как-нибудь ее охарактеризовать. Ступив за пределы 775 года, мы почувствуем, что очутились внутри чего-то, что с каждым шагом все более будет нам казаться особой и са­мобытной формацией, внутри чего-то, что с самого начала является уже не западным обществом, а, если можно так выразить­ся, опушкой общества римского. Идея не нова, и не мне ее критиковать: я и сам давно уже предлагал ее своим собратьям для решения проблемы хронологических срезов истории 6.

Эти рассуждения приводят Тойнби к необходимости поставить другую проблему, которую он называет проблемой наложения: речь идет о соотношениях, которые могут связывать между собой два общества, одно из которых приходит на смену другому. Осу­ществляется ли эта преемственность прямым и непосредственным путем, без разрыва во времени? Не обязательно. Возьмите Баг­дадский халифат. Его зарождение не было медленным и посте­пенным, как зарождение Римской империи. Он образовался от од­ного удара, каким явилась его победа над халифатом Дамаска. Эта победа восстановила связь Египта и Сирии, бывших римских провинций, с Аравией, провинцией сасанидской, связь, некогда осуществленную империей Ахеменидов (разрушен­ной, как известно, Александром Великим)17. Стало быть, победа Абассидов способствовала воскрешению огромной исторической формации, погибшей за тысячу лет перед этим, от грубого и чи­сто внешнего толчка. Но, выявив эту скрытую преемственность, Тойнби отделывается всего несколькими метафорами (застой, на­сильственный сон, пробуждение, исцеление), говоря о це­лых десяти веках, полных живой истории, и, опуская промежу­точные формации, связывает между собой государства Абассидов и Ахеменидов...

Стоит ли, однако, совершать вместе с ним эти рискованные прыжки назад, достойные самого Коллеано? Что он хочет ими доказать? Если воспользоваться его мыслью для изучения какой-нибудь политико-социальной формации (чья дата рождения мо­жет быть хотя бы приблизительно установлена), то чаще всего и впрямь можно заметить, что в эпохи, иной раз отдаленные от нее значительным временным промежутком, формация эта была предвосхищена другими формациями, в которых без труда угадываются кое-какие из ее отличительных признаков. Но ведь мы, историки, только тем и занимаемся, что ищем подобные прооб­разы! Только смотреть на эти поиски можно двояко: либо как на игру, либо как на средство, помогающее в конечном счете соста­вить общее представление о законах образования общественных формаций. Или - если скрепя сердце воспользоваться столь не-аналитичным и приблизительным лексиконом самого Тойнби - о законах образования «цивилизаций».

Что же нового вносит Тойнби в решение этой важной про­блемы?

Понятие расы он решительно отметает. Вовсе не она создает цивилизации. Чистых рас нет; научные представления о них не совпадают с представлениями обывательскими. Нет и привиле­гированных рас: из перечисленной им двадцати одной цивилиза­ции18 одни были созданы белыми, другие - желтыми, черными и краснокожими. А как относится Тойнби к географиче­ской среде, климату, топографическим особенностям? Точно так же. Схожие в географическом отношении страны - Ка­нада и Россия, например, породили совершенно несходные ци­вилизации. А «речные» цивилизации Нила и Янцзы19 столь же резко отличаются одна от другой, как и цивилизации «остров­ные» - минойская, японская, эллинская.2

Что правда, то правда: естественные науки не могут подска­зать нам разгадку проблемы. Здесь Тойнби сходится со Шпенглером. Речь идет о проблеме общечеловеческой - и закон, управ­ляющий столь огромной областью, является законом жизни, за­коном Вызова и Отклика (Challenge and Response), или в вольном переводе законом Раздражения и Приспособления. Это извечный закон: его знают и проповедуют все наиглавнейшие книги человечества - «Книга Бытия» и «Книга Иова», «Фауст» Гёте и скандинавская Voluspa [Прорицание вёльвы] или «Ип­полит» Еврипида. Переходя от Гесиода к Вольнею, от св. Матфея и Оригена к Гёте, от апостола Павла и Вергилия к Тюрго, Тойнби перечисляет всех богов, полубогов и героев, склонившихся над колыбелью этой великой идеи. Вся эта долгая церемония, производимая автором с весьма важным видом, не может иной раз не вызвать насмешливой улыбки фран­цузского читателя, который, согласно известному присловью, «и уродился насмешником». Тем не менее весь второй том «Изу­чения истории» посвящен описанию достаточно путаной «физио­логии» того, что мы условились называть «Раздражением». Или раздражениями, ибо автор подразделяет их на пять категорий.

Прежде всего - раздражения грубые (всякое раздражение должно обладать известной силой). Не будем искать их следы в местностях с мягким климатом. Нередко зарождение той или иной цивилизации является «чудом» чисто человеческим и столь ис­ключительным, что результаты его оказываются весьма кратковременными: таков урок, который могут преподать нам развали­ны майя, свидетельства трагической борьбы человека с девствен­ным лесом, или удушенные лианами памятники Цейлона и Кам­боджи, или, если взять иную географическую среду, руины Пальмиры, порожденные неумолимым вызовом пустыни.

Обратный пример: раздражение слишком слабо, жизненные условия чересчур благоприятны - и вот перед нами Капуя, perfida Capua (коварная Капуя), предательски сгубившая воинов Ганнибала. Но повсюду ли этот закон остается в силе? Да, повсюду. Где родилась китайская цивилизация? На берегах ми­лостивой Янцзы или бесноватой Хуанхэ? А цивилизация Анд? В умеренном Чили? Нет, в Перу, где с такой остротой стоят про­блемы орошаемого земледелия. Аттика, сердцевина Эллады, засушлива, тогда как тучная Беотия зелена и плодо­родна26. И так всегда, и так повсюду. Современная Германия родилась не в благодатном рейнском вертограде - она была вы­кована на тяжкой бранденбургской наковальне. Габсбурги вы­шли не из самых богатых, а из самых скудных земель, которыми обладал их род. С грубыми раздражениями связан призыв к обновлению, властный зов нетронутых человеком просторов: вавилонская цивилизация родилась в Ассирии28, индийская - на юге Индостана29: обе они были порождениями невозделанных, требующих расчистки земель.

Но не все раздражения являются природными. Есть и такие, что вызываются людьми, носят чисто человеческий характер. Та­ковы реакции, обусловленные внезапными испытаниями, пораже­ниями, катастрофами: Рим, воспрянувший после разгрома на Аллии30, Оттоманская империя, значительно усилившаяся за те полсотни лет, что прошли со времени ее поражения под Анкарой войсками Тимура31.  Закон, который остается в силе на протяжении всей истории, от битвы при Заме32 до битвы под Верденом33, - его действием Тойнби объясняет даже... описан­ное в «Деяниях Апостолов» воодушевление учеников Христа, вызванное вторичным исчезновением их Учителя...

Таков, говоря языком Тойнби, Stimulus of blows [влияния ударов]. Наряду с ними существуют и раздражения, вызванные постоянным давлением: stimulus of pressures [влияния давле­ний]. Что такое история Египта, как не пример постоянного на­пряжения между двумя его политическими полюсами, северным и южным, - напряжением, отдающимся в сердце Египта, в Фи­вах?34 Чем, как не подобным напряжением, объясняются жиз­нестойкость, сила и политическая плодовитость окраинных госу­дарств? Взгляните на Индию: Пенджаб, край, которому приходи­лось беспрестанно реагировать на толчки извне, и по сей день поставляет лучшие части в индийскую армию. Покуда куль­турный центр Индии находился в Дели, городе, не защищенном от внешних воздействий, он процветал и бурлил; когда же ан­гличане перенесли его в Бомбей, он зачах35. А где зародилось королевство Меровингов? В Австразии, которой то и дело угро­жали саксы и авары. Когда же была завоевана Саксония, именно она стала при Оттоне самой жизнеспособной провинцией его го­сударства37.

И наконец, последний stimulus: ответ на притеснения. Stimu­lus of penalization [влияния притеснений] - это раннее христиан­ство, чья потаенная жизнь была куда интенсивней его официальной жизни из-за преследований языческих императоров. Это ре­акция фанариотов, живших в христианском гетто Стамбула на положении нежелательных гостей; именно благодаря этому они сделались активными торговцами, установили связи с Западом, развили свои административные таланты, первоначально проявив­шиеся в области управления хозяйством Патриархии; все эти качества обеспечили им в Оттоманской империи конца XVII века поразительный материальный и духовный успех.

Вывод: цивилизации порождаются трудностями, а не благо­приятными условиями. Чем сильнее раздражение, тем живее отклик - до известного предела, разумеется. Скандинавская цивилизация проявила себя с особенной силой не в Гренландии с ее чрезмерно жестоким климатом и не в Норвегии, наименее су­ровой из стран этого региона, а в Исландии. Ибо цивилизация эта прежде всего должна была отвечать нуждам заморских ми­граций населения, благодаря которым переселенцы попадали в худшие условия, нежели те, которыми они пользовались в Нор­вегии. В худшие, но не в наихудшие, как в  Гренландии40.

Таким образом, Тойнби пытается объяснить нам, как зарож­даются цивилизации. Но родиться - это еще полдела. Нужно выжить. И жить дальше. История полна несостоявшихся циви­лизаций - или таких, что, не будучи уничтожены внешними си­лами, с какого-то момента перестали развиваться и как бы ока­менели, столкнувшись с чересчур постоянными и чрезмерными трудностями; они продолжают жить лишь ценой чудовищного напряжения, не имея возможности достичь подлинного расцвета. Пример - цивилизация эскимосов, остановившаяся в своем раз­витии, связанная, так сказать, по рукам и ногам самой чрезмерностью каждодневных усилий, необходимых для того, чтобы вы­жить в столь суровой среде. Другой пример - цивилизации кочевников, которым приходится расплачиваться за то, что они дерзнули бросить вызов степи. И наконец, примеры более разви­тых цивилизаций такого рода - к ним Тойнби относит цивили­зации османов и спартанцев.

Первый их отклик прозвучал на раздражения человеческого порядка. Османам предстояло покорить общества, прочно осев­шие на землях, которые они желали заполучить. Когда-то осма­ны были степными пастухами, они сохранили некоторые пасту­шеские навыки и воспользовались ими для достижения своей дели. У пастуха есть кони и псы - прирученные им животные, помогающие ему перегонять стада. Оттоманские падишахи на­учились с той же целью приручать людей. Солдаты и чиновники стали их сторожевыми псами, охраняющими человеческое стадо. Вследствие парадокса, являющегося таковым лишь при поверх­ностном рассмотрении, османы избирали этих псов, не из своей среды, а из среды христиан. Ведь их дрессировка была настоль­ко сложна и жестока, что вынести ее могли только существа, полностью вырванные из привычного человеческого окружения. Впрочем, к концу XVI века свободные мусульмане уже получи­ли возможность вступать в ряды янычар - и это было концом всей этой затеи, ее развалом и провалом.

Сходным примером при всех своих отличиях является циви­лизация спартанцев. Когда примерно в VIII веке до Р. X. перед эллинским миром встала проблема перенаселенности полисов, Спарта разрешила ее отнюдь не путем заморской экспансии. Она предпочла наброситься на своих соседей, мессенцев. Но те не были в противоположность варварам, колонизуемым греками, носителями низшей цивилизации. Победа над ними спартанцев принадлежала к числу тех, когда «меч побежденного навеки остается в душе победителя». С той поры все сущест­вование Спарты определилось единственной целью: удержать завоеванное. Ради этого ей приходилось постоянно выковывать все более и более жесткие и совершенные механизмы угнетения и полицейского надзора. Основу этой машины составляли не рабы, избранные из массы побежденных, как то было у османов, а сво­бодная спартанская молодежь, подвергавшаяся той же обработке, что и янычары: тщательный отбор, абсолютная специализация, строгий надзор над личной жизнью, развитие духа соревнования, в равной мере избыточные поощрения и наказания. А позади стояла Спарта - в вечной дрожи, в непрестанном напряжении. Что за ирония: спартанцы, составлявшие ничтожное меньшинст­во среди прочего населения Эллады, не осмеливались пустить в ход свою несравненную армию, ибо тщательно рассчитанное со­циальное равновесие оставляло так мало возможностей для его перестройки, что всего одна излишняя победа могла бы нарушить, а то и разрушить это равновесие. Такой и явилась роковая по­беда 404 года, повлекшая за собой не менее роковое поражение в 371 году и закат Спарты.

Таков удел остановившихся в своем развитии цивилизаций. Цивилизаций окостеневших. Схожих с миром насекомых: и тут, и там - та же скованность, неподвижность, безысходность. Те же усилия, направленные к одной цели: как бы не сломиться окончательно.

Чем же определяется жизнеспособность того или иного обще­ства? Тойнби перечисляет свои критерии. Это, во-первых, по­следовательное овладение жизненной средой. Затем - последова­тельное одухотворение всех видов человеческой деятельности. Даже в области чистой техники: разве не наблюдается и здесь переход от более тяжелого к более легкому, от более плотного к более разреженному - от угля к мазуту, от воды, служащей ис­точником движения, к пару? И наконец, последний критерий - это перенос раздражений и откликов из внешней среды во внут­реннюю. Для нас, например, внешние проблемы уже разрешены. И нечего утверждать, что извне нам угрожает большевизм. Он является западным, а отнюдь не чужеродным фактом: это крити­ка Запада в адрес временного и шаткого социального устройст­ва, установившегося в XIX веке. Что такое пятилетний план, как не победа западной техники, как не парадоксальный порыв, направленный к тому, чтобы распространить среди русского крестьянства противоречивые идеалы Ленина и Форда? Или, вер­нее, методы Форда и идеалы Ленина. Внешние проб­лемы для нас решены; их решение обеспечивается техникой - но в состоянии ли мы обуздать нашу технику? Победить ее во внутреннем плане? Вот великий вопрос и великое испытание. Будем же неусыпно бодрствовать.

Все это, хоть и несколько окольным путем, приводит Тойнби к постановке вопроса о внутреннем развитии обществ, и, в ча­стности, к вoпросу о взаимоотношениях между обществом и лич­ностью. Каков же его ответ? Общество само по себе ничего не создает. Оно является лишь полем столкновения индивидуальных творческих усилий. Оно осуществляет связи между личностями, они-то, а не само общество, и творят историю. Обще­ства развиваются благодаря усилиям гениев, которые изменяют общественную среду, откликаются на полученные ею раздраже­ния, вынуждают ее к тем переменам, которые претерпели они сами. А если им не удается все это, значит, они родились преж­де времени и обречены на гибель.

Иногда происходит одновременный расцвет множества гениев. Новые веяния носятся в воздухе. Одинаковые раздражения, по­лучаемые личностями, живущими в одной и то же среде, вызы­вают сходные отклики. Но масса всегда остается инертной. Именно отсутствие творческого меньшинства коренным образом отличает первобытные общества от настоящих цивилизаций. Везде и всегда путь истории пролегает по узкому гребню, с од­ной стороны которого находятся косные массы, а с другой - бодрствующее меньшинство, гении, обладающие своими собствен­ными  законами, своим  собственным жизненным  режимом...

Действие, творческий толчок, и снова действие. Вот что Тойнби называет законом Отступления и Возвращения, Withdrawal and Return, вслед за тем иллюстрируя этот закон диковинной га­лереей гениев, насаженных им на булавки, наподобие насекомых; перечислим кое-каких представителей этого собрания: св. Павел, св. Бенедикт, св. Григорий Великий, Игнатий Лойола, Будда, Давид, Солон, Филопемен, Цезарь, Лев Сирин, Магомет, Петр Великий, Ленин, Гарибальди, Гинденбург, Фукидид, Ксенофонт, Иосиф Флавий, Оливье (Эмиль!), Макиавелли, Полибий, Кларен-дон, Ибн Хальдун, Конфуций, Кант, Данте и ... Гамлет. Британ­ский юмор и тут остается в силе3.

Отступление и Возвращение: универсальное движение. Ему подчиняются не только отдельные личности, но и целые группы людей, вынуждаемых жизнью замкнуться в самих себе, с тем чтобы потом развернуться с невиданной мощью. Ему подчиняют­ся и сами цивилизации: Тойнби уверяет, что этот ритм присущ даже Советской России, уточняя, однако, чтобы не отступиться от своих идей об инертности масс, что withdrawal творческого меньшинства всегда предваряет это понятие по отношению ко всей цивилизации в целом. И что нередко творцы уже начинают реагировать на новые раздражения, тогда как масса еще продол­жает переваривать достигнутые ранее результаты.

Отсюда следует заключить, что ход цивилизации носит скач­кообразный характер. Резкие расслабления и периоды покоя слу­жат подготовительными периодами для новых скачков. Ибо в каждом живом обществе всякий ответ на раздражение тотчас порождает новое раздражение, И поскольку последствия этих раздражений неоднозначны, цивилизации становятся непо­хожими одна на другую. У каждой из них - особый характер: в этом Тойнби целиком следует за Шпенглером. Характер нашей цивилизации - а он сложился давно, задолго до всех современ­ных открытий, - механический. И третий том Тойнби заверша­ется нижеследующим оптимистическим заключением: любая ци­вилизация - достигшая расцвета, несостоявшаяся или остано­вившаяся в своем развитии - обретает смысл во вселенной, одухотворенной тем ритмом, о котором говорит один из стихов Корана (X, 4): «Все вы обратитесь к Нему. Таково истинное обещание Божие. Он выдохнул творение - Он и вернет его к Себе».

УРОК «ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ»

Таков этот труд, или по крайней мере его начало (Тойнби обещает еще два десятка томов). Такова атмосфера этой гран­диозной затеи, полной несомненных достоинств, несколько теат­рального блеска, живости и сноровки.

Атмосфера, пронизанная дрожью перед величественной гро­мадой Истории; чувство сенсации, вызванное у доверчивого чи­тателя внушительным обзором всех этих тщательно пронумерованных цивилизаций, которые, подобно сценам мелодрамы, сме­няют одна другую перед его восхищенным взором; неподдель­ный восторг, внушенный этим фокусником, который с такой ловкостью жонглирует народами, обществами и цивилизациями прошлого и настоящего, тасуя и перетасовывая Европу и Афри­ку, Азию и Америку; ощущение величия коллективных судеб и человечества и ничтожества отдельной личности, но вместе с тем: и ее значимости, ибо, следуя руководству Тойнби, она обретает способность обозреть одним взглядом двадцать одну (ни больше ни меньше!) цивилизацию, которые составляют основу человече­ской истории... А это всеведение, эта сверхуверенность в себе, эти объяснения, столь исчерпывающие и толковые, что, прочитав всего полсотни страниц, приходишь к выводу, что до сих пор ты ничего ни о чем не знал, - и тут тебя охватывает лихорадочное желание научиться всему заново, ибо только теперь перед тобой открывается решение стольких редкостных и диковинных зага­док...

Но если не поддаться искусительным чарам, если отвергнуть сентиментальную позицию верующего, присутствующего при богослужении, если беспристрастно взглянуть и на идеи Тойнби, и на выводы из них, - то что нового мы, историки, увидим во всем этом? Подлинно нового, такого, что заставило бы нас пере­смотреть наши убеждения, отречься от наших методов и принять методы Тойнби?

Могут ли нас привлекать эти заманчивые фейерверки, эта из­вращенная страсть к неожиданным аналогиям, к столкновениям между разнородными фактами, идеями и точками зрения - сло­вом, все то, что мы уже заметили у Шпенглера? Тойнби вспоми­нает великого Моммзена, первым значительным трудом ко­торого, как известно, было исследование в области «националь­ной» истории, истории римского народа. После чего он занялся публикацией текстов и надписей - всевозможных «Корпусов», «Кодексов» Феодосия и «Дигест»... О чем же это свидетельству­ет? О том, уверяет нас Тойнби, что кривая его жизни в точно­сти повторяет кривую его века: сначала - навязчивая страсть ко всему «национальному» и, стало быть, сужение поля историче­ских исследований, интерес к отдельным частям человечества, замкнутым в национальных границах; а затем - в соответствии с развитием индустрии - чисто «индустриальная» страсть к сбо­ру, переработке и всяческому перемалыванию исторического «сырья» - иными словами, страсть к работе над источниками... Ловко обыграно, ничего не скажешь! Но рассуждая подобным образом, нам ничего не стоит превратить Мабийона - он ведь тоже был усердным поставщиком исторического «сырья» - в со­временника индустриального общества, озабоченного вопросами добычи и переработки полезных ископаемых...

Пойдем дальше. Тойнби вслед за Шпенглером объявляет священную войну произвольным выборкам, дроблению, всему тому, что отдает духом «монографичности». Что ж, превосходно. Мы и сами вели и будем вести впредь подобную войну. Но мы-то более или менее компетентны в такого рода делах: одной доброй воли здесь еще недостаточно, необходима квалификация. И разу­меется, Тойнби не может сказать ничего нового никому из тех, кто - во Франции и за ее пределами - вот уже много лет уча­ствует в работе группы исследователей, которых еще в 1901 году сплотил вокруг своего  «Журнала синтеза»  Анри Берр,  зачинатель «Эволюции человечества». Ничему не может он научить и молодых специалистов, объединившихся вокруг «Анналов эконо­мической и социальной истории», и уж тем более тех опытных ученых, которые, откликнувшись на призыв «Комитета Француз­ской Энциклопедии», решили сообща осмыслить современный мир не с точки зрения отдельных специальностей, а с точки зрения животрепещущих проблем, не принимая во внимание школяр­ских и цеховых разграничений. Тойнби просто присоединяет го­лос Англии к французским голосам. И нам принадлежит право судить, в какой степени этот голос выделяется в британском мире на фоне прочих голосов. В нашем мире его обладатель может рассчитывать разве что на место среди хористов.

Что же касается судилища над сугубо «национальными» ис­ториями и близорукими их творцами, которые отказыва­ются рассматривать свою родину лишь как составной элемент единого целого, то здесь бойкость Тойнби вполне оправданна. С пылкостью неофита поучает он своих читателей, что нельзя гипнотизировать себя одной лишь Англией, что необходимо при­нимать во внимание все западное общество целиком, точно так же, как не следует посвящать свои бдения исключительно Афи­нам или Лакедемону, когда их достойна вся Эллада. Спору нет. Но при условии, что мы не будем забывать о нижеследующем пустяковом факте: никто иной, как Анри Пиренн, еще недавно с такой убежденностью и страстью защищавший сравнительный исторический метод, является автором национальной истории, «Истории Бельгии», написанной с таким блеском, что она достой­на стать самой интересной главой несозданного еще свода всеев­ропейской истории. Именно это обстоятельство и предостерегло его от всякого рода броских сопоставлений и упрощенных пред­сказаний: то, что простительно публицисту, недопустимо для ученого.

Покончив с разбором, подведем итоги: все «оригинальное» со­держание этой тысячи с лишним страниц, которое мы с грехом пополам попытались изложить на двадцати, сводится в конечном счете всего к трем-четырем положениям. Стоит ли их обсуждать? Да, но при условии, что предварительно мы позволим себе кое-какие оговорки.

В отличие от Шпенглера Тойнби не проповедует всеобщий пессимизм. Совсем наоборот. Его учение можно назвать косми­ческим оптимизмом. Он считает, что смысл стольких зародившихся и угасших цивилизаций открывается до конца в некоем ином мире. Похвальное, хотя и несколько туманное убеждение (будь и смелее, я сказал бы: несколько бредовое); не будем, однако, строго  критиковать: оно не имеет ни малейшего отношения ни к истории, ни к критике.

С другой стороны, тщась вернуть истории утраченный ею жизненный порыв, Тойнби всячески старается спасти ее от механистичности. С этой целью он пускает в ход целый арсенал «виталистических» выражений и метафор, с этой целью он ма­нипулирует понятием «высшего закона жизни», каковым для него является закон «Challenge and Response». И на сей раз мы, исто­рики, должны сказать: это философская, а не историческая фор­мула. Или философская истина, если так будет угодно господину Тойнби. Мы не беремся ее обсуждать. Точно так же, как не ста­нем оспаривать и другой его закон - «Withdrawal and Return», заставляющий нашего автора нанизывать на одну нить и воло­чить перед нами Фукидида, Магомета и... Эмиля Оливье. И на это мы можем со всей простотой ответить: здесь нам нечем по­живиться, здесь нет ничего, относящегося к нашей работе, к на­шим заботам, нашим методам, - ничего, если бы автор не утверж­дал, что открыл эти законы благодаря определенному методу - методу сравнительно-историческому. В таком случае перед нами, исследователями и любителями исторической действительности, а не философских истин, встает вопрос: да возможно ли подме­тить столько приемлемых и удачных сравнений между особенно­стями двух десятков цивилизаций, протянувшихся из конца в ко­нец времен, охвативших всю поверхность земного шара? Допус­тим ли такой метод, обоснован ли такой прием, правомерна ли такая процедура?

Взглянем на этот вопрос глазами самого Тойнби: ведь в пер­вой части своего труда он посвящает сорок страниц защите... не сравнительного метода как такового, а *своего собственного* сравнительного метода. Он поочередно приводит и опровергает возражения, которых более всего опасается. Первое из них гла­сит: общества несопоставимы в силу их разнородности. У них нет ничего общего, кроме того простого обстоятельства, что все они представляют собой объекты, в равной мере пригодные для исторического исследования, - а эта черта сходства чересчур рас­плывчата для правомерных сопоставлений. Заблуждение, отвеча­ет Тойнби. Двадцать одно общество имеет, во всяком случае, ту общую черту, что все они являются «цивилизациями», а не первобытными обществами. Первобытных обществ, согласно Тойнби, насчитывается шестьсот пятьдесят. Но эта двадцать одна цивилизация включает в себя большее число членов, чем все пер­вобытные общества за все время их существования. И тот факт, что все они в равной мере являются «цивилизациями», составля­ет приемлемую основу для их сравнения. Пусть так, но сначала следовало бы все-таки условиться, что мы называем цивилиза­цией...

Второе возражение полностью противоположно первому: мы только что уяснили, что следует думать по поводу разнородно­сти *цивилизаций;* но можно ли отказаться от тезиса в защиту общности *цивилизации?* Человечество едино, его не поделишь, как пирог, на куски; стало быть, не может идти речи о цивилизациях: она всего одна, Цивилизация с большой буквы. Тойнби отводит целых двадцать две страницы на опровер­жение этого тезиса, а заодно и европоцентристской концепции истории, которая ставит во главу угла европейскую цивилизацию XX века. Все это очень хорошо, но французский читатель, гля­дя на это донкихотское сражение с призраками, сначала усмех­нется, а потом удивится: неужели Великобритания сохранила такую верность идеям конца XVIII века, что для их опроверже­ния потребовалось столько усилий, столько страниц?

Тойнби предвидит более серьезное возражение. «Эти два де­сятка цивилизаций, - могут ему сказать, - не сосуществуют од­новременно. Расхождения во времени между некоторыми из них составляют шесть тысяч лет. Какие уж тут сравнения!» Но что такое эти шесть тысяч лет, если вспомнить, что земному шару два миллиарда лет, что жизнь на нем появилась триста миллио­нов лет назад, а человек (всю ответственность за эти выкладки мы, естественно, возлагаем на самого Тойнби) существует вот уже триста тысяч лет?  С точки зрения какого-нибудь жителя Сириуса, эти шесть тысяч лет - сущий пустяк, временная пленка почти неуловимой толщины. А мы еще пытаемся искать какие-то различия! По сути дела, все цивилизации современны и одновременны. Тем более что каждая из них, рассматриваемая в качестве отдельного индивидуума, неизменно проходит три воз­растных периода: период зарождения, иногда связанный со вжив­лением в постороннюю цивилизацию, период расцвета и период перерастания в новую цивилизацию или полного угасания. Вот я вся недолга! Что и говорить, фокус удачен, трюкачу нельзя отказать в ловкости, но не свидетельствуют ли подобные трюки о механическом подходе к истории, а вовсе не о стремлении «вдохнуть в нее жизнь»? Оставим, однако, в стороне и эти и многие другие частности. Главное в другом: Тойнби изо всех сил старается распахнуть новую дверь в историю - дверь, надпись над которой гласит: все цивилизации равноценны и наша не является их венцом. Так воздадим же автору должное за это утверждение!

Остается последнее возражение: «Всякий исторический факт единственен в своем роде и поэтому несопоставим с другими». Каждое проявление жизни, с некоторой неуверенностью отвечает Тойнби, единственно в своем роде и в то же время сопоставимо с другими жизненными явлениями. Существование таких наук, как ботаника и зоология, существование общих биологических дисциплин и психологии само по себе доказывает, что жизненные феномены поддаются сравнению. Да и антропология тоже не от­казывается от сравнений... Сравнений? Но первобытные обще­ства лишены истории... Это кажется вам лишь потому, настаивает Тойнби, что они лишены документов. Вы ведь не возражае­те против сравнения между собой первобытных установлений?

Но если бы вам удалось восстановить историю обществ, приняв­ших извне или создавших эти установления, вы не возражали бы и против сравнительного изучения этих обществ в ходе их разви­тия. А если это так, то что вам мешает заняться таким же срав­нительным изучением обществ и цивилизаций, которые обладают всеми необходимыми документами для подобного исследования? Тем более, ловко ввертывает Тойнби, что всякое эмпирическое изучение цивилизаций наводит на мысль о наличии элемента ре­гулярности и повторяемости, который может послужить наилуч­шей из основ сравнительного метода, - нечего сказать, хитроум­ная уловка, с помощью которой автор пытается выдать за уста­новленный факт то, что еще надлежит установить!

Вы, историки, добавляет Тойнби, привыкли препираться по мелочам о возможности применения сравнительного метода к живым фактам (или к тем фактам, что когда-то были живыми). Деловые люди так не поступают. На чем основывают они свои предприятия? На чем, к примеру, основывается деятельность стра­ховых компаний? На статистических данных. Иначе говоря - на «равнениях между фактами, которые считаются «единственными в своем роде». Эти статистические данные достаточно надежны: попробуйте ими пренебречь - и ваше предприятие захиреет; об­думанно воспользуйтесь ими - оно будет процветать. Стало быть... Стало быть, мы, трусоватые историки, должны брать при­мер с деловых людей. И, подобно им, пользоваться сравнитель­ным методом.

Но не спешите с выводами, - продолжает наш автор. Я ведь не говорю, что все высокопарные разглагольствования о жизни и о живой истории сводятся к вычислению прибыли от ценных бу­маг или страховых премий. Я просто-напросто хочу сказать, что здравый смысл деловых людей не имеет ничего общего с уста­ревшими методами изучения истории. Превосходно. Этот здравый смысл побуждает их «естественным образом» употреб­лять сравнительный метод в привычной для них области. Со­гласен. Но что они сравнивают? В каких временных пределах осуществляются их сравнения? И что получится, если они нару­шат эти пределы? Представим себе теперешнего хлебного макле­ра, вздумавшего строить прогнозы на будущий урожай с учетом колебания цен на хлебном рынке в Египте времен Рамсеса II... Ведь даже выводы из наблюдений над фактами европейской ис­тории полувековой давности вряд ли приложимы в чистом виде к современным фактам: я бы посоветовал любому деловому чело­веку хорошенько подумать перед тем, как пустить их в ход. Но не пора ли нам оставить избранный самим Тойнби метод вообра­жаемой полемики с британскими оппонентами, которые, если смотреть на них с его точки зрения, могут показаться нам старо­модными представителями старомодной и отсталой страны, чья наивность лишь способствует успеху нашего автора? Я считаю, что ни я сам, ни мои товарищи по оружию из «Журнала синте­за», «Анналов» и «Энциклопедии» не стараемся намеренно ря­диться в маски противников всяких новшеств в истории. Я утверждаю, что никогда не выступал против сравнительного мето­да, а только что упомянутые издания подтвердят это г-ну Тойнби, если он  перестал интересоваться состоянием историче­ских идей во Франции (исключая идеи Эмиля Оливье46 и Гобино47). Напротив: я сломал немало копий в защиту этого мето­да.  Но  всегда  вступал  в  бой  с достаточной  осторожностью.

Давайте сравнивать. Но сравнивать так, как подобает истори­кам. Не ради извращенного удовольствия поваляться в двадцати одной пустой скорлупе, а ради здравого и разумного постижения конкретных фактов, ради все более и более глубокого проникно­вения в те останки былых времен, которыми являются цивилиза­ции. Давайте сравнивать, но не для того, чтобы из неудобова­римой мешанины китайских, индийских, русских и римских фак­тов извлечь в конце концов некие абстрактные понятия вроде Вселенской Церкви, Всемирного Государства или Варварских Вторжений. Давайте сравнивать, чтобы с полным знанием дела заменить все эти нарицательные имена именами собственными. Чтобы - позволю себе воспользоваться знакомым материалом - говорить не о Реформации, а о реформациях XVI века, показывая, сколь различным образом свершались они в различных сферах, национальных и социальных, в ответ на «раздражения», исходящие от разлагающегося средневекового мира.  Исследование этих  реформации - это  отнюдь не серия монографических рассуждений о тех или иных подробностях догм, сформулированных Лютером, Цвингли, Меланхтоном, Буцером или Кальвином, а объяснение перемен, вносимых жизнью со всеми присущими ей частностями в совокупность «понятий о мире», выработанных этими деятелями для самих себя и для своих современников, - перемен, каждая из которых связана со всеми остальными: все они определены условиями  существования  отдельных  личностей,   социальных групп, классов и народов. Замысел, который не осуществишь  одним махом, - что  правда,  то правда.  Но все  же более скромный, чем замысел Тойнби. Без малого век в сравнении с шестью тысячами лет: две пленки, но первая куда тоньше второй. И пусть нам не возражают:  «Разве то прошлое, которое вы стремитесь понять и объяснить другим, не превращается в конце концов в производимую вами самими реконструкцию?» Ну разумеется! Всякая наука конструктивна. Но не всякая конструкция устойчива, приемлема, закономерна. Можно утверждать, что источники не говорят нам всего. Что из них нельзя автоматически извлечь однозначных и необратимых заключений. Что осмысление их  требует от  историка особого чутья, умения угадывать, чуть ли не дара провидения. Но утверждать, будто с помощью какой-нибудь сотни данных, почерпнутых из специальных трудов, можно должным образом восстановить прошлое цивилизации, значит брать на себя непомерную ответственность. А делать это, пользуясь фактами из третьих рук, примерами, взятыми из учебников, - значит заниматься пустыми химерами.

Добавлю к тому же: упорно противопоставлять «специалиста», «автора монографии» «истинному историку», «мастеру обобщений» - значит во всеуслышание объявить себя ретроградом. Я говорю это как практик в области истории. Как «специалист» и «мастер обобщений» в одном лице, ибо эти ипостаси историка неразделимы. Не серийное производство абстракций, а обобщение, извлеченное из конкретных фактов, - вот наивысшая вершина, доступная историку, наивысшая и наитруднейшая. Не все ее достигают - не каждому это дано.

И пусть, бога ради, Тойнби и ему подобные из других стран перестанут иронизировать над «специалистами», над этими полуслепыми кротами, над этими мракобесами, источниками всяческого зла. И сам Тойнби и его приспешники являются по меньшей мере «ровесниками» этих кротов. Они тоже принадлежат вчерашнему, а то и позавчерашнему дню. Они во всю глотку вопят о «жизни» - точь-в-точь, как вопили их предшественники в 1900 году. Но жизнь не поймаешь в сеть двадцати одной цивилизации, растянувшуюся на шесть тысяч лет. А если и поймаешь, она задохнется в руках «сравнителей», проецирующих Ашшурбашшала на Людовика Святого, а Сезостриса на Ленина. Поменьше словесного пиетета перед *Жизнью вообще,* побольше уважения к отдельным *жизням.* Даже в рамках строго определенного периода историку XX века трудно удержаться от привнесения своих собственных идей, чувств и устремлений в сердца и души людей XVI или XII века. А пытаться сопоставить между собой двадцать одну цивилизацию - значит совершить двадцать один смертный грех, непростительный грех анахронизма. К тому же...

Можно ли, нельзя ли говорить об истории «первобытных» племен? На мой взгляд, вопрос поставлен неправильно. Главная разница между «первобытными» племенами и «цивилизованными» обществами состоит в том, что можно с достаточным основанием говорить о зулусах, кафрах и тукулерах  вообще - ибо они относительно мало отличаются друг от друга в пределах данной этнической группы; но говорить о каких-то абстрактных «греках», «римлянах», «французах эпохи средневековья» или «итальянцах эпохи Возрождения», а уж тем более о «человеке средних веков» или «человеке эпохи Возрождения» - значит злоупотреблять доверием к истории. И оболванивать жизнь, пытаясь втиснуть ее в немногосложную формулу. Возьмем столь дорогой сердцу Тойнби пример. Хитроумный «маневр» его спартиатов существует на самом деле, но это всего лишь маневр ловкого журналиста. Попробуем-ка и мы разок перепрыгнуть через века: сколько прекрасных страниц можно было бы при желании посвятить «сравнению» Спарты с нацистской Германией! Но что такое эта «нацистская   Германия», как не этикетка, ярлык, удобное выражение?  Нацистская Германия - это сами нацисты, выдающие этикетку за реальность. А подлинная реальность современной Германии слагается, с точки зрения историка (и выражаясь языком Тойнби), из различных откликов различных групп и различных индивидуумов на «раздражения» национал-социализма. Она слагается из целой гаммы отношений к этому режиму: от 95% приятия до 100% отказа - и эта подвижная (и живая) совокупность живучих традиций, обрывочных пережитков и реальных переживаний никак не умещается под оболочкой официального конформизма. Что же тогда говорить о Спарте? Если нацистское единообразие есть не что иное, как пустая формула, что же тогда говорить о единообразии спартанском и о том его описании, которое дает нам Тойнби? Не будем же стараться скрыть столько белых пятен картонными декорациями, если даже они броско размалеваны и находятся в полном соответствии с лондонскими вкусами 1936 года.

Сравнительная история глазами Тойнби... Что это такое, как не воскрешение в XX веке старого литературного жанра, бывшего в свое время популярным, давшего столько шедевров? От Лукиана до Фонтенеля жанр этот именовался «Диалогами мертвых» 50.

Подытожим в двух словах. То, что в «A Study of History» достойно похвалы, не представляет для нас ничего особенно нового. А то, что в нем есть нового, не представляет особенной ценности.

Прочитав эту книгу, мы начинаем озираться вокруг, но с облегчением замечаем, что все осталось таким, как было прежде: ничего не поломано, ничего не задето. Мы не больше, чем раньше, гордимся своими достижениями и сокрушаемся о неудачах. Нам не преподнесли никакого нового ключа. Никакой отмычки, с помощью которой мы могли бы открыть двадцать одну дверь, ведущую в двадцать одну цивилизацию. Но мы никогда и не стремились завладеть такой чудодейственной отмычкой. Мы лишены гордыни, зато у нас есть вера. Пусть до поры до времени история останется Золушкой, сидящей с краю стола в обществе других гуманитарных дисциплин. Мы отлично знаем, почему ей досталось это место. Мы сознаем также, что и ее коснулся глубокий и всеобщий кризис научных идей и концепций, вызванный внезапным расцветом некоторых наук, в частности физики, поко­лебавшей считавшиеся неколебимыми понятия, на которые десятилетиями безмятежно уповало человечество. Мы сознаем, наконец, что в силу этих преобразований, а также потому, что Наука едина и все ее отрасли взаимосвязаны, мы сознаем, что наши идеи, основанные на устаревшей научной философии, должны быть пересмотрены, а вслед затем должны подвергнуться пересмотру и методы, неотделимые от этих идей. И в этом нет ниче­го страшного, ничего такого, что могло бы заставить нас отречься от нашего кропотливого и нелегкого труда и броситься в объятия к шарлатанам, к наивным и в то же время лукавым чудотворцам, к сочинителям дешевых (но зато двадцатитомных!) опусов по философии истории.

Что же касается утверждения, которое, не будучи высказанным явно, угадывается на каждой странице труда Тойнби, - утверждения, гласящего, что история повторяется, - то тут спорить не о чем. История действительно повторяетсяю В том смысле, в каком понимал это старый библиотекарь одного персидского шаха, пожелавшего за несколько минут до смерти узнать, что такое история... «Государь, - сказал мудрый старец испускающему последнее дыхание владыке, - люди рождаются, любят и умирают».